

О благодущии Некрасова

С именем Некрасова у меня всегда почему-то связывается воспоминание об одном литературном обеде или, лучше сказать, полулитературном, полувоенном, где были исторические повествователи, генералы в отставке, и где что-то вспоминалось, и обсуждались текущие обстоятельства, литературные и политические. Должен сказать, что я всегда не любил самого процесса еды; просто, мне антипатичен вид едящего человека, и от этого всякий раз, когда мне приходится не дома обедать, я прихожу в сквернейшее настроение духа, и линия движущихся ртов производит во мне самое унылое настроение, как бы прорезываемое сатирическими мыслями. И в этот обед, о котором я говорю, было чадно и шумно, хвастливо и тупо, как приблизительно на всяком, я думаю, «общественном обеде». Но особенно глаз мой фиксировался на одном публицисте-литераторе с плотной фигурой и уверенным лицом. Дома что ли он ничего не ел, но он с какою-то жадностью придвигал к себе то жестянку омаров, то особого сорта икру, то дорогое вино, и ел, ел — так, что тошно было смотреть. Когда обед достиг, так сказать, культурно-политического центра, и поднялись бокалы шампанского, то среди речей в пользу чего-то или в отрицание чего-то (шли годы значительного публицистического смысла, около середины минувшего десятилетия), послышалось имя Некрасова. И вот публицист-литератор, с плотной фигурой и с большим вкусом к омарам, заговорил, что ныне «Некрасов уже всем понятен, всеми забыт, но что первый, кто взвесил настоящим образом его талант и печатно развенчал его петербургско-либеральные вирши — был он, в таком-то издании, кажется, иллюстрированном, и что хотя это не было в свое время замечено и оценено, но что при-

оритет по времени развенчания Некрасова принадлежит ему»¹. Нужно сказать, что этот литератор, с довольно громкой фамилией, впрочем, более проистекающей от созвучия ее с фамилией других действительно знаменитых литераторов, в ту пору девяностых годов являл собою фигуру, на которую до некоторой степени опиралось отечество. Именно, он был из тех, которые раскапывали гробы прошлого и воспевали покойников. За свои работы, о которых он говорил, что они вдохновенны, хотя мне, да кажется и всем (кроме которых он говорил, наивных редакторов), они казались деланными, он получал огромные гонорары, хотя, может быть (по хвастливости), еще увеличивал их в расказах. Во всяком случае, в речах его слышался сочный русский смысл, претензии были — на древний русский дух; все собрание было крайне русским, «народно-русским», хотя не без государственных оттенков. Высоты Шипки, Плевны, Балкан мелькали в речах, упоминались имена Хомякова и Аксаковых, хотя не упорно, хотя без настойчивости. Энергичные и отчасти угрюмые лица обедавших как бы говорили: «Мы сами — Аксаковы, мы тоже — Шипка». Все вообще было глубоко не интересно, за исключением этой речи исторического писателя, отрицавшего Некрасова, и отрицавшего его как-то морально, «за недостаточную искренность, полную деланность и отсутствие настоящего русского чувства». Речь эта как-то особенно запомнилась мне и, так сказать, легла на сердце неувядающим цветком, который освежается всякий раз, когда какой-нибудь повод пробудит имя Некрасова. Это — как жгущая крапива на могиле. Жжется она — больно могиле; шевелится могила, и недобрым взглядом глядишь на крапиву. Впечатления заострились; стали недругами друг против друга. И, может быть, Некрасов был бы менее подчеркнут в моем сердце, или подчеркнут не так решительно и бесповоротно, если бы не это навязчивое впечатление, одно из ничтожных, но которые имеют фатум завязать в душе и до известной степени душу перерабатывать, воспитывать.

Белинский сказал про Некрасова: «Какой талант у этого человека, и какой топор его *талант*»². Сам Некрасов признавал свою музу «музою *мести* и печали». Между тем, просматривая его стихи теперь, когда уже завершилось все, судя о нем не под впечатлением единичного стихотворения, только что вот появившегося в свежей книжке журнала, а по всей сумме его стихов, невозможно не заметить, что *благодушие* — все-таки небо в нем, а гнев — только облака, проносящиеся по нему; грозные, темные, серьезные, однако отнюдь не преобладающие, не образующие постоянного угла настроения поэта. Невозможно без улыбки и глубокого доверия к сердцу автора перечесть его стихи, начинающиеся присказкой.

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет,
И пожалуй — силен сатана —
Натворил бы я бед³.

Такого благодушия стихов и у Пушкина надо с усилием выискивать. В «Зеленом шуме» это благодушие развивается во что-то пантеистическое. Вернувшись из города, с заработков, муж находит изменницу-жену:

В мои глаза суровые
Глядит — молчит жена.
Молчу, а дума лютая
Покоя не дает:
Убить — так жаль сердечную,
Смотреть — так силы нет.
А тут зима косматая
Ревет и день, и ночь:
«Убей, убей изменницу,
Злодея изведи!»⁴

Срам соседей, суета мирская, так же как и подлинная ревность — изводят мужика. Но зимние вьюги минуют:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум.
Как молоком облитые
Стоят сады вишневые.
Пригреты теплым солнышком
Шумят повеселелые
Сосновые леса,
И липа бледнолистая,
И белая березынька.
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему,
Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
«Люби, покуда любится,
Терпи — покуда терпится,
Прощай — пока прощается
И Бог — тебе судья».

Это — пантеизм любви. И как нов и неожидан, а вместе неувыдаемо светел мотив прощения: не хныкающего, не с высокомерною остаточною мыслью: «вот, я прощаю — потому что я свят, ее, хотя она и грешница». Право, это «благовестие» Зеленого Шума (и какой термин!) не меньше может сказать нам, не меньшему научить, чем другое благовестие, как-то уже слишком заглушившее в нас Зеленые Шумы, и чуткую способность внимать им. — Самая бедность, на которой он останавливается, слишком зная ее острые когти, разрешается иногда в стих кольцовской простоты и беззлобия:

В ключевой воде купаюся,
 Пятерней чешу волосыньки,
 Урожаю дожидаяся
 С непосеянной полосыньки.
 (*«Калистрат»*)

Это благодущие переходит местами в смех, великорусский, здоровый: тот смех, без которого народ наш и не перенес бы всего того, что перенес:

У людей-то для щей — с солониною чан,
 А у нас-то во щях — таракан, таракан!

 Как бы нам так зажить, чтобы свет удивить:
 Чтобы деньги в мошне, чтобы рожь на гумне⁵.

Или, того же тона, в другом размере, о «молодых»:

Повенчавшись, Парасковье
 Муж имущество казал:
 Это — стойлице коровье,
 А корову Бог прибрал.

 Есть и овощ в огороде —
 Хрен да луковица⁶

и т. п. Колорит почти везде не имеет кольцовской нежности, нежности Воронежской губернии, уже обвеваемой ветрами с Черного моря; он суровее, беспощаднее, но не от души поэта, а от северных губерний, где он рос и бродил, обвеваемый стужей Ледовитого океана. Однако каждый признает, что нужны были свои песни и именно народные песни и этим северным странам. Невозможно отвергнуть, что Некрасов был их певцом, давшим в стихе своем очерк северного человека, северной

природы. «Мороз, Красный нос» есть эпопея великорусского севера и вместе лучшее стихотворение Некрасова, по богатству красок, по разнообразию и трогательности тонов. Мы не станем на нем останавливаться по слишком большой его общеизвестности.

Север — суров, и наивно-лукав. Чувства в нем не вытягиваются в длинную пальму, не ветвятся, не раздаются в пышную зелень, а растут приземистой березкой, коротенькой, «ядреной», стелющейся по земле. Такова любовь у Некрасова. Она физиологична, коротка, простодушна, но очень тепла. «Для наших мест» она прелестна:

Вянет, пропадает красота моя!
От лихого мужа нет в дому житья:
Пьяный все колотит, трезвый все ворчит,
Сам, что ни попало, из дому тащит!

Ведь в этих четырех строчках — $\frac{3}{4}$ «домашнего быта» русского народа. По уменью дать формулу, подвести итог множеству явлений, глаз охотника — Некрасова не знает себе соперничества.

Не того ждала я, как я шла к венцу!
К братцу я ходила, плакалась отцу,
Плакалась соседям, плакалась родной —
Люди не жалеют, ни чужой, ни свой!
«Потерпи, родная», — старики твердят:
«Милого побои недолго болят!»
«Потерпи, сестрица!», отвечает брат:
«Милого побои недолго болят!»
«Потерпи!» соседи хором говорят:
«Милого побои недолго болят!»⁷

Это, по-северному, «накладывают» на человека, что на извозную лошадь кладут: «ничего, свезет: на то — одер». Но человек слабее лошади, и хитрее. Нельзя не улыбнуться дальнейшим строкам:

Есть солдатик — Федя, дальняя родня,
Он один жалеет, любит он меня:
Подмигну я Феде, — с Федей мы вдвоем
Далеко хлебами за село уйдем.
Всю открою душу, выплачу печаль,
Все отдам я Феде — все, чего не жаль!

А вот — кошка оглядывается на пройденный след и улыбается хозяину-драчуну. Читатель заметит, до чего великорусски речь и склад ума:

«Где ты пропадала?» — спросит муженек:
 — Где была, там нету! так-то мил дружок!
 — Посмотреть ходила, высока ли рожь!
 «Ах ты, дура баба. Ты еще и врешь»...
 Станет горячиться, станет попрекать...
 Пусть его бранится, мне не привыкать!
 А и поколотит — не велик наклад —
 Милого побои недолго болят!

Встань из гроба Пушкин и перечти это стихотворение — он пожалел бы, что оно не в «Собрании его сочинений». Тут такая бездна живописи, краткой, точной, с любовью сделанной; тут — и быт народный, и психология, и народная судьба. Заключительное:

Милого побои недолго болят

в устах сытой кошки, которую смолоду «драли» под эту самую присказку, отдает и злостью, и мезтью, но все какой-то коротенькой, без романтической разрисовки; злостью и мезтью, расплывающейся почти в благодущие. «Просто — так было», и никаких дальше рассуждений. «Так повелось, сестрица, дочка, соседка, что девиц в нашем краю без их воли замуж выдают; это еще от святой старины и от самих угодников Божьих, которые воли человеческой не возлюбили, волю человеческую изрекли грешною». — «Ничто, родименькие: я к Феде сбегала: так-то еще из старинки повелось, из древней старинки. И в сказках об этом сказывается, и от соседей я об этом слыхивала». И обошлось к взаимному удовольствию. Корельская береза коротка, но тверда.

Мало кто заметил, что в так называемых «гражданских стихах» Некрасова есть бездна этого же благодущия. Прежде всего, в них есть просто доброе чувство, без всяких осложнений, — как вздох облегченной груди:

Родина мать! по равнинам твоим
 Я не езжал еще с чувством таким!
 Вижу дитя на руках у родимой,
 Сердце волнуется думой любимой:
 В добрую пору дитя родилось,
 Милостив Бог, не узнаешь ты слез!
 С детства ничем не испуган, свободен,
 Выберешь дело, к которому годен...⁸

Это просто доброе чувство при виде доброго поступка, счастливого положения, — без всякой «мести и печали». Если затем мы возьмем

его «Песни о свободном слове», то и тут увидим гораздо меньше собственно гражданского чувства, так сказать, юридического восторга, а увидим скорее радость рабочего по облегченному труду, осложненную почти школьною резвостью, маленьким уличным озорством. «Песни» эти полны неувядающей свежести, и суть лучший монумент великой, хоть и кратковременной, эпохи. Они состоят из восьми рубрик: «Рассыльный», «Наборщик», «Поэт», «Литераторы», «Фельетонная букашка», «Публика», «Осторожность», «Пропала книга». Все рубрики полны живописи, олицетворения, одушевления.

Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пущать⁹.

Это говорит рассыльный, встречаясь со старым литератором на Николаевском мосту. Целый сонм кумушек слышится в сетовании пораженной, рассерженной «Публики»:

Нынче, журналы читая,
Просто не веришь глазам,
Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикам!
Экой герой сочинитель!¹⁰

Речь ее перебивает литератор, опытный журналист, толкующий о новых темах, новых настроениях, не то в кружке приятелей, не то с начинающими писателями:

В ледовитом океане
Лодка утлая плывет,
Молодой, пригожей Тане
Парень песенку поет:
«Мы пришли на остров дикий,
Где ни церкви, ни попов;
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов;
Так с тобой, моей голубкой,
Неужель нам разное спать?
Буду я песцовой шубкой,
Буду лаской согрывать!»
Хорошо поет собака,
Убедительно поет!

Но ведь это против брака, —
 Не нажать бы нам хлопот?
 Оправдаться есть возможность,
 Да не спросят, — вот беда!
 Осторожность! Осторожность!
 Осторожность, господа!¹¹

Это несравненно по живости. Сколько бы ни упрекали нас, мы скажем: в чем же *новом* выразились 60-е годы у Майкова, Полонского, Фета? Все те же песни, как у Пушкина, та же «свирель», «роща», как в Галии — и в России, как в XV веке у трубадуров, так и у петербургских литераторов половины XIX века. Но в приведенном стихотворении своя историческая минута сказалась столь *индивидуально*, так *ново*, — что, конечно, именно он выразил вечную сущность поэта:

Ревет ли зверь в лесу глухом

 На все, поэт,
 Родишь ты отклик...¹²

Вот этого «эха» не было у Майкова, Полонского, Фета. А у Некрасова оно было, — да только *оно* и было.

Ай да свободная пресса!
 Мало вам было хлопот?
 Юное чадо прогресса
 Рвется, брызжется, бьет,
 Как забежавший из степи
 Конь, не знакомый с уздой¹³.

Читая опись этого маленького литературного озорства, столь законного в первую минуту, столь милого, наконец — удивляешься вовсе не «музе мести и печали», а именно свирели мальчика, без всяких гневных, без всяких мужских, «гражданских» нот. В рубрике восьмой, «пропала книга», поэт благодушествует и шутит даже над духовным и материальным крахом, естественно переносимым с запрещением книги, уже отпечатанной, но не пропущенной новой тогда «последующей» цензурой (была отменена только «предварительная»).

Уж напечатана — и нет...
 Не познакомимся мы с нею;
 Девица в девятнадцать лет
 Не замечается над нею!

О ней не будут рассуждать
Ни дилетант, ни критик мрачный,
Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной¹⁴.

Тут — все читатели, все время! Сколько живописи, и как она кратка! Если эпохи и события нарастают на народе, как на дереве круги древесины, то, конечно, 60-е годы именно в лице Некрасова narосли на русской истории новым поэтическим слоем. Стихи, темы, психология — все ново в нем, ничто не перепевает напевов прежних. Поразительно, как могло это отрицаться в свое время и вообще когда-нибудь, как заподозривалось в значительности, важности, в искренности. Некрасов был более поэт, в строгом, классическом значении слова этого, нежели кто-нибудь из его поэтических сверстников; разъяснить это есть тема критики, в отношении его не выполненная и законная.

Возвращаясь к «музе мести и печали», мы удивляемся, как она не назойлива у Некрасова, не тягуча. Решительно, это был поэт малого гнева. Он сказался только в раннем, еще 1846 года стихотворении «Родина». Оно не похоже на «родины» ни Пушкина, ни Лермонтова, но тут уже Некрасову некуда было уйти от своей биографии. И кто смеет из нас бежать от своей «биографии», и подставлять на место мотивов из нее мотивы чужих биографий? Ведь это было бы горчайшей изменой своей «родине»!! И Некрасов воспел свою, особенную, — не пушкинскую и не лермонтовскую — «родину». Как это совпало с надвигавшимся переломом в целом его отечестве; т.е., хотим мы сказать, как, в конце концов, был провиденциален весь Некрасов как поэт:

Вот темный-темный сад...
Чей лик в аллее дальней
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о, знаю, знаю я!..
На веки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы..
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!

И ты, делившая с страдальцей безгласной
 И горе, и позор судьбы ее ужасной,
 Тебя уж также нет, сестра...
 Из дома крепостных любовниц и псарей
 Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
 Тому, которого не знала, не любила...
 Но матери своей печальную судьбу
 На свете повторив, лежала ты в гробу
 С такой холодной и строгою улыбкой,
 Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой!

 И с отвращением кругом кидая взор,
 С отградой вижу я, что срублен темный бор;
 И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
 Понутив голову над высохшим ручьем,
 И на бок валится пустой и мрачный дом,
 Где вторил звону чаш и гласу ликований
 Глухой и вечный гул подавленных страданий...¹⁵

Это хорошо, как «Дума» Лермонтова, не уступает ей в силе и красоте. Но как здесь, в столь личном стихотворении, сказалось и чувство русского и России о себе самой, между 1846 годом и 1877, когда почил поэт. Вот в истории литературы пример случая, каприза «Книги бытия», сливающего лицо человека с лицом народа, лицо певца с сюжетом воспеваемым! И посмотрите, какой мотив гнева — это не «общегражданское чувство», а личное: живая конкретная привязанность еще мальчика-поэта к теням замученных сестры и матери. Шалость его лиры потом, например, уже в приведенном отрывке —

В ледовитом океане,

да и вообще все «брыканье юного чада прогресса», объясняется до последней точки видным и пережитым, например, хотя бы в сфере семьи, этою «благодатною» судьбою двух самых дорогих поэту женщин. «А когда так — то все на сруб!» решил еще слишком благо-разумно, слишком безгневно поэт и Россия тех дней. «Все было обещано, ничего не было дано», «все милые формулы и скверные дела», «прочь же, неправдоподобный флаг с нагруженного фальшивостями корабля». В ту приснопамятную пору произошло не так называемое «колебание основ»: дело в том, что сами «основы» уже ранее пропустили в себя негодное содержание, — и невозможно было выпотрошить эту начинку, не распарывая несколько самую «основу», туго и официальнейшим образом застегнутую на все пуговицы. Таким

образом, борьба по существу происходила за отечество, за историю, за каждую порознь из мнимооспариваемых «основ»: ну, например, в этом стихотворении —

В ледовитом океане,

по-видимому, чисто нигилистическом, почти татарском. Но ведь что же было делать, если в культурной России из судьбы матери и сестры поэт увидел воочию, что в красивом футляре, с такой солидной надписью, как «брак», «семейство», вложены: позор, унижение, изломанная жизнь, распутство одной стороны и слезы — другой, текущие под все-народную присказку:

«Милого побои недолго болят».

На таковую татарскую действительность под православным крестом он и ответил, да и вообще ответили русские журналисты того времени, как бы татарской вывеской (нигилистическая форма) над нравственным и человеческим содержанием (быт и жизнь этих людей по существу; например, в браке — любовь, но подлинная, без всякой формы). Таковы были недоразумения времени. Встречу двух волн, старой и новой, наш же поэт выразил в «Песне Еремушки», которую я позволю себе назвать знаменитою. Нянька — деревенская — поет песню уканиваемому ребенку, причитает привычное, тысячелетнее:

Ниже тоненькой былиночки
Надо голову склонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Проезжий поэт, он же Н. А. Некрасов, берет у нее малютку с негодующим чувством: «Эка песня безобразная», — и, предложив няне отдохнуть и уснуть, начинает другую:

Жизни вольным впечатленьям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремленьям
В ней проснуться не мешай...¹⁶

И т.д. — целая программа пожеланий. У Некрасова не было только *длительного* поэтического подъема. От этого в прекраснейшие свои стихотворения, с середины или к концу, он иногда начинает брать

чужие слова, то из поэтов, то даже из прозы, что было уже совершенно неудобно и роняло его как поэта. Так и в «Песне Еремушки», накидывая очерк желаемого, он вставил двустишие:

Братством, истиной, свободою
называются они.

Но тот ошибся бы, кто подумал бы, что он противопоставляет русскому французское: у него просто не хватило словаря известных слов, к четырнадцатой строфе энтузиазм творчества угас, и он взял наско-ро «fraternité, liberté», вставить неуклюже в середину их «истину». Заметно вообще, что Некрасов быстро утомлялся в писании стихов; «Эхо» в нем было коротко. Как много у него стихов с прелестнейшим началом, с вечно запоминаемой строкой, например, это:

Бес благородный скуки тайной¹⁷

и которые кончаются тускло, да и в общем содержании запутаны, не ясны. В душе его не было «дали». «Эхо» быстро ударялось о ближнюю стенку и возвращалось коротким, не растянутым звуком.

Блажен, незлобивый поэт,

повторим мы его же стих в применении к нему, — как это ни странно покажется. Виденное или услышанное в нем не залеживалось и почти не перерабатывалось. Он не пел осенью о том, что видел весной: не запевал через пять лет о том, что испытал сегодня, он о весне пел по весне, а про осень пел осенью. В «Декабристах» Толстого есть наблюдения, мелочные, едкие, но эпически спокойно переданные, которые выразились в своих последствиях, в гневных последствиях, не ранее, как лет через десять после написания этого очерка. Вся «Исповедь» Толстого десятилетия зрела, но без передачи читателю малейшего штриха из того, что готовилось в душе автора. Вообще, если говорить о «музе мести и печали» серьезно, то ее куда больше у Толстого, Достоевского, нежели у Некрасова.

Напротив, они в применении к душе своей могли бы взять первый стих «Еврейской мелодии» Байрона.

Душа моя мрачна...¹⁸

Некрасов вовсе не знал этой Сауловой тоски. Открытое, простое сердце, без лабиринтов в себе, — он и был оттого так полюблен эпохой

тоже простой, без лабиринтов в ней; «честными и мыслящими реалистами», назовем мы ее ее любимым, ее наивным термином.

Вдохновение его, я сказал, не задерживалось. Подъем чувства не жил в нем долго. Отсюда происходит уже названная нами выше слабость и какая-то странная запутанность изложения его длинных поэм, например «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо». Он меняет в них размеры; вставляет в текст, без всякой нужды, только для облегчения себя, народные песни (*всегда другим размером*). Путается и вязнет в теме, вдохновенно, с большими надеждами начатой. Чтобы он написал такое длинное произведение, как «Евгений Онегин» в стихах, — этого невозможно себе представить. Пушкин и Лермонтов *бременели* стихом: он в них рождался сам, и им трудно было *не писать, невозможно не писать*. Они задохлись бы, если бы рифмы не зазвучали, не легли на бумагу, не пошли в типографский станок. «Мцыри» Лермонтова довольно значительное стихотворение, — а между тем на третьей, на пятой, на шестой странице строки текут такие же густые, страстные, и, кажется, тянись сюжет — они потянутся бесконечно. Выражение Некрасова о себе:

...Мой неуклюжий стих¹⁹.

Относится не к *стиху* собственно, который у него бывает часто прелестен, иногда гениально *удачен*:

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим по мужику²⁰,

но это определение и самосознание поэта относится к компоновке стихотворений (особенно длинных), которая действительно выходила у него почти всегда неуклюжа, прямо — мало понятна и мало мотивирована. Он, как будто затрудняясь в рифме и особенно в размере, не находя слов в довольно бедном своем словаре (*у каждого писателя есть собственный лексикон* слов, которые у него всегда готовы, всегда на уме, толпятся во лбу и веют у кончика пера), начинал поворачивать так и этак ход рассказа, изложение содержания, уже применяясь, наконец, к найденной рифме, к вылившейся строке. Редкие стихотворения, как «Власть» (всегда не длинные), у него выходили целостно, монументально. Представляю себе его восторг, когда он поставил точку у «Власа»: ничего испорченного, ни одного лишнего слова, вдохновенно до последней строки. Так не радовался Пушкин «Евг. Онегину» и Лермонтов «Мцыри».

Все же это немножко сближает Некрасова с нами; он, как все, только талантливее. Тогда как те, Пушкин и Лермонтов — вовсе необыкновенные, «демонические» что ли или «божественные». Строй души Некрасова очень близок к земле, и это — ничего, это — хорошо, от этого он и был так возлюблен и справедливо возлюблен толпою. Разделим его радость, позволительный и исключительный восторг, что он дал нам такого великолепного «Власа», единственного в русской литературе стихотворения, *которое не уступает ничему* и у Пушкина, и у Лермонтова. На вопрос, выключить ли из литературы нашей «Купца Калашникова» или «Власа», я не указал бы «Власа»: или никоторого, или обоих. Без «Власа» мне просто было бы скучно жить на свете, я обедел бы на некоторое богатство в собственном и личном благополучии. Вот что значат «национальные» богатства, вот как они копятя.

Указанная краткость «эха» у Некрасова едва ли не объясняется одной его биографической чертой. Грустная мать его легла мостом между нигде и ни в чем не соединенными народностями: русской и польскою. Мы имеем родное в немцах, во французах, в англичанах, в итальянцах. Тысяча воспоминаний нас соединяет с ними, — воображаемых и реальных, литературных и житейских, то в виде старого гувернера, то оставившей богатые впечатления заграничной поездки. Но нет от нас нации более далекой и даже, наконец, вовсе неизвестной — как поляки! Если мы спросим себя: да что же так разделяет нас? то ответим: польский «гонор», этот и сословный, и исторический аристократизм, да еще неудавшийся, очень не эстетичный. Русь по разным историческим обстоятельствам, еще начавшимся от татарщины, несет действительно на себе «зрак раба»; но она не приникла и не покорила в нем, а как-то извернулась и поставила его, наконец, как флаг и завет для себя, как идеал и гордость, братски связавшись в нем и страстно ненавидя все, что имеет хотя бы какое-нибудь поползновение сословно, лично, разбив звенья цепи, отойти в сторону от общей, довольно горькой, доли, но по общности и единству ставшей наконец национально милою, и как бы всемирно-милою. У нас «демократизм» есть не юридический термин, не политический, не программный, это — бытовая психология и почти мировая метафизика. Польша и поляки, где все «нопог» чужды нам не в частях своих, не в подробностях, а в целом и слитном своем составе. Мы и они по психологии как бы взаимно непроницаемы. Мицкевич не соединил нас с ними, несмотря на дружеские в России связи, — ибо ушел под конец в ту же национальную хвастливость «мессианизм» Товянского и свой: Замечательно, как худо в России прививается национальный «мессианизм», выраженный славянофилами и частью Достоевским: он подсекает глав-

ную добродетель России — скромность («зрак раба», не «заносись в мечтах»). И надо же было, — и я думаю это фатально, — что около самого любимого и самого демократического русского поэта, вечно возившегося с мужицким бытом, любимца студентов и гимназистов, встала и неотделимо встала страдальческая тень матери, дворянки-польки, заморенной русским самодуром. Это есть дорогое польское имя в русской истории, но неразрушимо дорогое — ибо около него уже все кончено, и все что было — было хорошо именно в русском нравственном смысле: терпение, несчастье и т. п. Мне думается, если место могилы ее известно — город Ярославль ничем не выразил бы так почитание памяти поэта, как поставив хоть недорогой монумент на ее могиле. Да, думается, было бы хорошо и останки поэта перевезти туда же, и вообще соединить в воспоминании и в увековечении замечательную мать и замечательного сына. Некрасов совершенно немислим в красоте и силе своей, т. е. вообще во всей значительности, без этой особенной связи, и без особенной судьбы своей матери. «Муза» его там, около ее могилы; а «печаль и месть» этой музы было только разросшееся до национальной значительности негодование сына за свою мать; обобщенье (и действительное совпадение) обстоятельств личной биографии с обстоятельствами страны. Но я кончу о той черте Некрасова, о которой заговорил. Известно, что поляки — нация короткого «эха», быстро воспламеняющегося и недолгого впечатления. Некрасов воспринял в себя душу своей матери-польки. Отсюда не задерживающаяся, не залеживающаяся его впечатлительность; отсутствие упорно разгорающегося вдохновения; и отсюда же некоторые невольные его как бы франтоватые фразы:

Терпением изумляющий народ²¹

или:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой...²²

и пр., или целые стихотворения, какие-то оперные («У парадного подъезда», «Убогая и нарядная»), которые более всего внушили подозрительности касательно его искренности и натуральности. Но это было наследство крови, которое он, так сказать, нес в горбе за спиною, даже не видя его: и не привлекая сюда никакой личной, сколько-нибудь сознательной психики, т. е. никакой вины. Это у него было, как у блондина белый цвет кожи.

Но нужно изумляться, с каким вниманием он выискивал чужое страдание, аналогичное тому, которое сам видел или перенес, т. е. подлинное, настоящее, не «литературное», и до какой высоты, простоты

и правды восходил при передаче его. Перечтите под рубрикой: «О погоде» — 1) «Утренняя прогулка» (как хозяйка жильца-чиновника хоронит) и 2) «До сумерек», — разные уличные мелочи; также «Дешевая покупка», «Свадьба», и потом все стихотворения: «На улице».

Вот идет солдат. Подмышкою
Детский гроб несет детинушка.
На глаза его суровые
Слезы выжала кручинушка.
А как было живо дитяtko,
То и дело говорилось:
«Чтоб ты лопнуло проклятое!
Да зачем ты и родилось».

Конечно, это не так великолепно, как «адмиралтейская игла» в «Медном всаднике». Но эта поэзия *terre-à-terre* имеет свою невыразимую нравственную прелесть. Собственно, новое в истории лицо русского человека, не похожее на римское, греческое, немецкое, английское, польское, — более говорит этим стихотворением, чем даже «иглою» Пушкина. Ибо «адмиралтейскую иглу» также можно было построить в Лондоне, как и в Петербурге, а в Эдинбурге она и светилась бы точь-в-точь как у нас. Великое дело — новое в истории лицо. Все можно сотворить, все можно сделать, всего великого или прекрасного достигнуть: но *еще* человек, еще другой и новый человек, или народ — это что-то драгоценнейшее всякого личного творчества. Русский мужик после римского пролетария есть большее историческое приобретение, чем около Сципиона²³ другой Сципион, или чем после Сципиона — Цезарь. И вот это-то другое, новое и драгоценное, и рисовал Некрасов, ему послужил он.

...И дровни, и хворост, и легонький конь
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
*Все, все настоящее русское было...*²⁴

Таковыми штрихами, непременно лично подсмотренными, полны стихотворения Некрасова, и в них-то лежит золото его поэзии.

